

ДЖОН ДЖОЗЕФ

Язык и национальная идентичность*

Природа национальных идентичностей

«Нация» — это неоднозначное по своей сути слово, иногда оно используется в этимологическом смысле — люди, связанные рождением, происхождением, — как, например, тогда, когда говорят о еврейском народе или народе чероки. Но чаще это слово используется в широком смысле — территориальное пространство, его население и правительство, которое управляет им из единого центра, — например, британская нация. Иногда, когда этимологическое и широкое понимания слова «нация» совпадают, используется термин «национальное государство». Так, Ирландия считается нацией и национальным государством, тогда как Великобритания — это только нация в широком смысле слова, состоящая по крайней мере из четырех наций в этимологическом смысле: англичан, северных ирландцев, шотландцев и валлийцев. Шотландию, Уэльс и другие подобные им образования иногда называют «нациями без государства».

Проблема в том, что *действительное* совпадение этих двух основных понятий слова «нация» невозможно. Ведь для того, чтобы это произошло, национальную территорию должны населять представители только одной нации по своему рождению и ни один представитель нации по своему рождению не должен проживать за пределами этой территории. Такая безупречная картина образует «идеал» национального государства — скорее дистопический, нежели утопический идеал всякого ревностно-пуристического националиста¹. В современном мире вера в нацию по рождению усиливалась всякий раз,

* John Joseph. Language and Identity: National, Ethnic, Religious. Houndmills, Basingstoke, Hampshire & New York: Palgrave Macmillan, 2004. P. 92–125.

¹ Хотя действительные условия в отдельных странах в отдельные эпохи могли приближаться к такому «идеалу», трудно представить, чтобы какая-то нация могла полностью закрыться ото всех чужаков на очень долгое время. Распространение религий и других культурных конструкций и артефактов свидетельствует о том, что всякое сообщество может оставаться огражденным от внешних контактов и влияний в течение довольно непродолжительных периодов резкой реакции на вероятную угрозу вторжения или проникновения; и, наконец, если угроза окажется достаточно сильной для того, чтобы вызвать такую реакцию, то на какое-то время нации, вероятно, удастся замкнуться.

когда политическая нация ощущала угрозу со стороны «чужаков» либо в результате иммиграции, нарушавшей однородность населения, либо в результате имперского или колониального господства. В течение двух последних десятилетий во Франции поддержка партии Национальный фронт, выступавшей с лозунгом «Франция для французов!», была наиболее сильной в областях с наибольшей концентрацией новых иммигрантов — сначала выходцев из Северной Африки, а теперь все чаще — из Восточной Европы. В 2002 году основатель и руководитель Национального фронта Жан-Мари Ле Пен прошел во второй тур президентских выборов. В Шотландии расцвет Шотландской национальной партии пришелся на годы правления Маргарет Тэтчер, когда болезненные меры по экономической реструктуризации, проводимые во всей Великобритании, были восприняты многими шотландцами как имперское притеснение со стороны давнего врага, Англии. После частичной передачи в 1999 году правительством Блэра политических полномочий возрожденному шотландскому парламенту Шотландская национальная партия вновь начала борьбу, чтобы завоевать поддержку населения.

В США повсеместное вывешивание флагов после атак на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года стало наглядным примером того, как мы инстинктивно обращаемся к символам национальной идентичности в ответ на нападение на нацию — ведь именно так, по замыслу его организаторов, должно было быть воспринято разрушение этих зданий. До нападения и всего того, что за ним последовало, символическая значимость Всемирного торгового центра, если исходить из его названия, по всей видимости, была связана с международным капитализмом. Однако его доминирующее положение в силуэте Нью-Йорка, по-видимому, было истолковано теми, кто совершил это нападение, как свидетельство существования неразрывной связи между США и «международным» капитализмом. Еще более удивительно то, что башни стали национальным символом даже для тех американцев, которые жили за тысячи миль от Нью-Йорка, никогда не бывали в этом городе и обычно считали его олицетворением ценностей, полностью противоположных тем, что исповедовали они сами. Возможно, «национальная» ценность Всемирного торгового центра была создана самим этим нападением. Во всяком случае за несколько недель США удалось организовать международную коалицию для вторжения в Афганистан и свержения правительства талибов, которое предоставило убежище Усаме бен Ладену, вдохновителю нападений 11 сентября, а 18 месяцев спустя возглавить менее крупную коалицию для вторжения в Ирак и свержения Саддама Хусейна, который не имел непосредственного отношения к этим нападениям, но наряду с бен Ладеном воспринимался в качестве серьезного национального врага.

Конструктивистский поворот в социальных науках, произошедший в последней четверти XX века, повлиял на изучение национальной идентичности не меньше, чем на изучение любой другой формы идентичности. Действительно, постоянное изменение национальных границ после двух мировых войн, распад СССР и Восточного блока в 1989–1991 годах и признание субнациональных единиц в Западной Европе в 1990-х годах способствовали четкому осознанию текучести и произвольности национальной идентичности. И хотя такое осознание не поколебало глубокой веры в «реальную» националь-

ную идентичность как нечто, связанное с нашим рождением или событиями детства и остающееся, по сути, неизменным в дальнейшем, оно, несомненно, способствовало возникновению среди ученых стремления рассматривать такие верования как мифические и считать идентичность чем-то, что создается и пересматривается нами на протяжении всей нашей жизни.

Неизменной темой исследований национальной идентичности последних четырех десятилетий было определяющее значение языка в ее формировании. Как мы увидим, многие видные историки, социологи и специалисты в области политических наук утверждали, что существование национального языка составляет важнейшую основу националистической идеологии. Другие же уделяли большое внимание собранным историками языка данным, которые показывали, что национальные языки не были даны изначально, а сами были созданы в результате идеологической работы по созданию национализма. Например, на протяжении многих веков Британские острова (термин, который сам по себе оскорбителен для ирландских националистов, но которому не существует замены) в языковом отношении представляли собой смешение местных диалектов, германских или кельтских по своему происхождению. Только в современную эпоху люди, движимые националистическими устремлениями, создали «языки» народов Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса, а также Корнуолла и других менее крупных областей (которые более горячие их приверженцы зачастую считают «нациями»).

В случае Шотландии сосуществование двух отдельных национальных языков (гаэльского и шотландского, восходящих к кельтскому и германскому источникам соответственно) не способствовало, а препятствовало развитию языкового национализма, поскольку приверженцы обоих этих языков сосредоточили свои усилия на борьбе с притязаниями соперничающего языка, а не на гегемонии английского. Несмотря на то что Шотландии не удалось выработать единый национальный язык, подавляющее большинство шотландцев полагает, что стратегическая экономическая ценность использования мирового языка перевешивает политическую, культурную и сентиментальную ценность «унаследованных» языков. Можно заметить, что извечная борьба между гаэльским и шотландским языками представляет собой разумный способ сдерживания националистического пыла в приемлемых рамках.

Как показывает пример Шотландии, в отношениях между языком и национальной идентичностью не существует ничего неизменного. Даже значение понятий «язык» и «нация» меняется в зависимости от контекста. Однако мы можем обнаружить определенные модели, присутствующие при языковом конструировании национальной идентичности во всем мире, они образуют матрицу, которая позволяет объяснять и сравнивать различия в локальном конструировании.

Когда начинается национализм?

Как и в случае со многими «доктринами», которые представляют собой артикуляцию того, что уже существует на протяжении некоторого времени, определение истоков национализма оказывается сомнительным занятием. В этой статье будут рассмотрены взгляды современных ученых, датирующих

его возникновение концом XVIII — концом XIX веков. Но даже если национализм действительно претерпел серьезные изменения за последние 250 лет, он возник не на пустом месте. Современный национализм обнаруживает важную преемственность с национальными идентичностями, которые восходят к истокам письменной истории.

В Ветхом Завете закреплены устные традиции еврейского народа, связанные с его происхождением, верованиями, отношениями с соседними народами, обращением в рабство и изгнанием с родных земель, а затем возвращением на них, ставшим прелюдией к его золотому веку; Ветхий Завет был не простым историческим повествованием, но подтверждением и средством обеспечения дальнейшего существования нации. Развитие национализма в XVIII–XX веках по-прежнему истолковывается сквозь призму библейских текстов, которые составляют общую основу европейской культуры, преодолевая национальное и социальное разделение. Впервые речь о народах заходит в десятой главе Книги Бытия. В этой главе перечисляются имена троих сыновей Ноя — Сима, Хама и Иафета — и места, где они проживали, иногда с точным указанием границ. Каждый из трех отрывков завершается фразой, наподобие следующей: «От них [семи сыновей и семи внуков Иафета] населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих» (Быт. 10:5). Земля, язык, племя... народ. Верующие полагают, что все изложенное в Книге Бытия написано рукой самого Бога.

Десятая глава Книги Бытия служит генеалогической интерлюдией между историей Всемирного потопа (Быт. 6–9) и описанием того, как потомки Ноя впоследствии распространились по всему миру (Быт. 11). В начале одиннадцатой главы Книги Бытия мы возвращаемся ко времени, когда «на всей земле был один язык и одно наречие» (Быт. 11:1) и все племя Ноя, продвигаясь на запад, находит равнину в земле Сеннар и поселяется там. Люди решают построить «город и башню, высотой до небес», и «сделать себе имя, прежде нежели рассеяются по лицу всей земли» (Быт. 11:4).

Предполагается, что при отсутствии у них общего имени, то есть национальной идентичности, они неизбежно должны рассеяться. Целью создания идентичности служит сплочение людей, принадлежащих к народу, которые должны зависеть друг от друга и от городов, а не рассеиваться в поисках собственной земли в сельском пространстве, которое со временем начинает считаться «естественным», в отличие от «искусственного» образования городских пространств.

Древние империи средиземноморского бассейна были прекрасно осведомлены о населявших их народах. В Новое время английские националистические настроения нашли свое отражение в исторических пьесах Шекспира конца XVI — начала XVII веков, но называть их «националистическими», наверное, анахронично, если само понятие национализма как общей доктринальной позиции появилось лишь два столетия спустя.

Общепризнанно, что Американская революция 1776–1781 годов и Великая французская революция 1789–1793 годов сыграли важную роль в становлении современного понятия нации как политической реальности. Однако в книге, которую можно назвать основной для современных академических рассуждений о национализме, Эли Кедури отмечает, что решающие пере-

ны произошли в начале XIX века после прихода к власти Наполеона в результате Великой французской революции. Его книга начинается с явно провокационного вводного предложения:

Национализм — это доктрина, которая была изобретена в Европе в начале XIX века... Вкратце, доктрина покоится на том, что человечество естественным образом разделено на нации, что нации обладают определенными особенностями, которые могут быть установлены, и что единственным законным видом правления является национальное самоуправление (Kedourie, 1960. P. 9).

В большинстве предшествующих работ о национализме, включая всесторонние исследования Дойча (Deutsch, 1953) и Шафера (Shafer, 1955), основное внимание уделялось проявлениям национализма в XX веке. При этом предполагалось, что сама нация как социальная структура существует в своем современном виде по крайней мере с эпохи Возрождения, а национализм был ее неизбежным идеологическим сопровождением. Кроме того, превратившись в основу политической и социальной организации во всем мире, нации и национализмы, несомненно, навсегда закрепили за собой такое положение — если, конечно, не был прав Маркс, считавший, что с наступлением коммунистического интернационализма нации падут одна за другой.

Маркс не был первооткрывателем сконструированного характера наций. До него в 1826 году Томас Купер писал о том, что «моральная сущность, грамматически именуемая нацией, наделяется атрибутами, которые на самом деле существуют только в воображении тех, кто преобразует слово в вещь» (Cooper, 1826. P. 88). Неудивительно, что Маркс истолковал такое овеществление нации с классовой точки зрения, признав ее средством, при помощи которого буржуазия оберегает и отстаивает свои интересы. Существование наций, как и религии с капитализмом, было просто необходимым этапом исторического развития человечества на пути к социалистическому идеалу.

То, что анализ Маркса был связан с революционной программой, направленной на скорейшее преодоление этого несовершенства, долгое время не позволяло немарксистам принять ключевую идею о том, что идея нации сама по себе была историческим продуктом. Серьезный шаг в этом направлении был сделан в 1944 году немарксистским исследователем Гансом Коном, который утверждал, что нация — это современная идея, датируемая серединой XVIII века, и что «национализм прежде всего и главным образом — это состояние ума, волевой акт, который со времен Французской революции становится все более характерным для человечества» (Kohn, 1944. P. 10–11; Кон, 2000. С. 109). В непосредственном контексте Второй мировой войны и борьбы с нацизмом (от которого бежал Кон) такая позиция встретила подготовленную аудиторию в англоязычном мире, но с началом «холодной войны» все вернулось на круги своя, и антинационализм, как и прежде, стал отождествляться с марксизмом.

Еще одна сложность в рассуждениях Кона связана с опорой на эссенциалистское противопоставление между «волютаристским национализмом» Англии и Франции и «органическим национализмом» Германии и народов Центральной Европы, которые, разумеется, были связаны с философскими

традициями эмпиризма и рационализма соответственно. Положительное описание волюнтаристского национализма и критика органического национализма пришлось весьма кстати во время войны, но утратили свое значение с возобновлением борьбы между марксистским антинационализмом и национализмом вообще. Дойч (Deutsch, 1953) попытался исправить положение в типично модернистской манере, пересмотрев национализм с социологической точки зрения. Отталкиваясь от определения нации как «сообщества социальных коммуникаций», он стремился отыскать количественный метод, позволявший установить, что на самом деле представляют собой нации — цель, которая кажется сегодня практически недостижимой.

Кедури (Kedourie, 1960) отстаивал более чистую конструктивистскую точку зрения, нежели Кон, предложив вместо национализма как «волевого акта» национализм как доктрину, причем совершенно условную, и отодвинув ее истоки еще на несколько десятилетий назад. Рассмотрение этой идеи в историческом контексте без всякого упоминания Маркса помогло специалистам в области политических наук, историкам и другим исследователям признать в нациях и национализме исторически случайные образования. Как мы увидим, некоторые очень важные работы, многое почерпнувшие из этого сдвига, начинались с резкой критики Кедури по множеству частных вопросов, но в то же самое время признавали, что он сыграл ключевую роль в создании нового дискурса, обратив внимание на мыслителя, который ныне считается одним из наиболее оригинальных и здравомыслящих теоретиков: речь идет об Иоганне Готлибе Фихте. Однако Фихте, положивший язык в основу своего определения нации, будет рассмотрен в этой статье более подробно далее, а пока мы должны вернуться на пять веков назад к прадеду всех языковых (прото)националистов Данте Алигьери.

Конструирование национальной идентичности и язык: «О народном красноречии» Данте

Очевидно, что отсутствие национального языка является одним из наиболее серьезных препятствий, которое необходимо преодолеть при создании национальной идентичности. «Миф национального государства» — общее представление о том, что мир естественным образом состоит из национальных государств, — связан с предположением, что национальные языки представляют собой изначальную данность. Независимо от трудностей, с которыми мы могли бы столкнуться при определении того, кто является «немцами» (например, являются ли немцами дети турецких иммигрантов и кто из эльзасцев французы, а кто — немцы), немецкий язык продолжает играть важную роль в решении этой задачи. Гитлер пытался оправдать свои первые вторжения в соседние страны тем, что проживавшее в них немецкоязычное население было неотъемлемой частью немецкой нации; и, как показал Хаттон (Hutton, 1999), его политика притеснения и, в конечном итоге, истребления евреев подкреплялась идеей о том, что, хотя их язык — идиш — был разновидностью немецкого, евреи все же были расово неполноценными, так как они не смогли сохранить свой «родной язык». Поэтому они не принадлежали немецкому государству, а паразитировали на нем.

Но принадлежность богемского, австрийского, восточнопрусского диалектов и идиш к «немецкому языку» не была предопределена заранее, и даже лингвисты не имеют научного подтверждения этого. Дело в том, что «немецкий язык», как и любой другой национальный язык, представляет собой культурную конструкцию. Своим возникновением он во многом обязан Мартину Лютеру, который в своем переводе Библии стремился создать такую разновидность немецкого языка, которая смогла бы соединить в себе множество диалектных групп, существовавших до конца XIX века в многочисленных малых и крупных государствах, весьма различавшихся в языковом отношении. К тому же сама эта история культурно сконструирована, и хотя она соответствует действительности, в ней присутствует значительное упрощение. Для создания соответствующего «героического» мифа приходится игнорировать или маргинализировать работу многих других людей по созданию «немецкого языка», а также то, что Лютеру ничего бы не удалось сделать без более широких культурных перемен, начавшихся в конце XV века, включая изобретение подвижного шрифта и зарождение националистических настроений, которые сделали возможным разрыв с римской религиозной монархией.

Прототипом современного национального языка был итальянский язык. Удивительно, но Италии удалось стать политической нацией только к 1860 году, а окончательное объединение завершилось в 1870 году, за год до объединения Германии. Менее удивительно, что именно политические разногласия на итальянском полуострове привели к возникновению языкового и культурного единства. В мире романских языков на протяжении тысячи лет, прошедших от падения Римской империи до начала эпохи Возрождения, слово «язык» означало «латынь», которая использовалась в официальных целях и письме. Однако в неофициальном общении люди говорили на местных диалектах, исторически связанных с латынью, хотя и весьма различавшихся от селения к селению.

Никакого «итальянского языка» тогда не существовало. Возникновение и осуществление его идеи восходит — героически и вновь лишь полумифически — к Данте, автору «Божественной комедии». В трактате Данте «О народном красноречии» (около 1306 года), опубликованном только в 1529 году, описывается процесс *открытия*, а не изобретения национального языка нации, которой понадобилось пять с половиной веков для того, чтобы обрести свое политическое существование.

Задача, как ее видел Данте, заключалась в открытии этого итальянского народного языка и использовании его вместо латыни, официального языка западного христианского мира:

Народной речью мы называем ту, к какой приучаются младенцы от тех, кто при них находятся, как только они начинают разбираться в словах; или, короче говоря, народной речью мы считаем ту, какую воспринимаем, подражая кормилице без всякой указки (Данте, 1968. С. 270).

Он противопоставляет этому языку язык с «грамотой», под которым подразумевается официальный письменный язык, который мы теперь назвали бы стандартным языком. И вновь для западного христианского мира этим языком оказывается латынь — язык, на котором писал и сам Данте:

Есть затем у нас и вторичная речь, которую римляне называли грамотой. Такая вот вторичная речь имеется и у греков, да и у других народов, но не у всех; навыка в этой речи достигают немногие потому, что мы ее выравниваем и научаемся ей со временем и при усидчивости (Там же).

Слово «вторичная», на первый взгляд, кажется, имеет просто временное значение, как если бы этот вид речи приобретался во вторую очередь. Но затем Данте утверждает, что классический стандарт также вторичен по своей *знатности* по отношению к народной речи:

Знатнее же из этих двух речей народная; и потому, что она первая входит в употребление у рода человеческого, и потому, что таковою пользуется весь мир, при всем ее различии по выговорам и словам, и потому, что она для нас естественная, тогда как вторичная речь скорее искусственная (Там же).

Латынь — это язык церкви, священный язык, и утверждение о том, что народный язык знатнее, граничило с ересью. Но Данте противопоставляет «естественную» речь «искусственной», той, что создана искусством. Владение искусством тогда считалось положительным качеством. Тем не менее искусство, в конце концов, принадлежало человеку, а природа была божественной.

Данте рассматривает различные итальянские диалекты, чтобы определить, какой из них лучше подходит для того, чтобы служить *volgare illustre*, ясным и понятным народным языком, способным стать лучшим поэтическим средством в общеитальянском контексте. По его мнению, ни один из существующих диалектов не подходит для этой цели. Поэтому *volgare illustre* представляет собой *идеальный* язык, который следует искать не ушами, а умом:

После охоты в лесных нагорьях и пастбищах Италии и не отыскав пантеры, которую выслеживали мы, стараясь ее найти, проследим ее более разумно, дабы ту, которую мы чуем всюду, но которая нигде не показывается, изловить, хорошенько опутав тенетами (Там же. С. 284).

Чтобы достичь этой цели, необходимо найти среди диалектов «основное», самый простой член в своем роде:

Всякий предмет измерим в своем роде по тому, что он является в данном случае простейшим. В силу этого в наших поступках, поскольку они разделяются на виды, следует находить тот признак, по какому их и надо измерять... Поскольку мы поступаем как итальянцы, у нас имеются известные простейшие признаки и обычаев, и одежды, и речи, по которым измеряются и оцениваются поступки итальянцев (Там же. С. 285).

Не уточняя, в чем состоят признаки итальянскости, Данте довольно неожиданно заявляет, что теперь его поиски завершены:

А наиболее благородные из поступков итальянцев не составляют собственности никакого отдельного города Италии, а принадлежит им всем вместе: тут вот и можно теперь различить ту народную речь, за которой мы начали охотиться и которая ощутима в любом городе и ни в одном из них не залегает (Там же. С. 295).

На самом деле Данте не показал, в чем же заключаются наиболее благородные из поступков итальянцев, общие для всех городов, которые, однако, оказываются итогом длинной дедуктивной цепочки. Но Данте уверен, что

мы установили знаменитую народную речь, за которой охотились, сделав вывод о том, что она не составляет собственности никакого отдельного города Италии, а принадлежит им всем вместе. Итак, существует действительный язык, который соответствует этому описанию: *grammatica*, латынь, но она исключается по определению. Она недостаточно благородна, потому что, будучи собственностью всех городов Италии, она не принадлежит всему народу. Нам нужно нечто, что принадлежало бы всему народу, а не какому-то отдельному городу; то, что делают все они, это все же не то, что делает каждый из них.

Современному читателю все это кажется чем-то надуманным, попыткой обнаружить понятный народный язык в том, что на самом деле было изобретением Данте, скрывавшим свои тосканские истоки. Но даже этот изобретенный язык не обладал бы ни одной из тех черт, которые требовал от него Данте, — в нем не было бы ни оригинальности, ни общности, ни естественности, ни благородства. В таком случае с какой стати его можно было предпочесть латыни?

Данте переходит к описанию естественного элемента, который он не будет потом использовать в своем искусстве, так и не признав, что сам этот элемент мог быть произведением искусства. Если *grammatica* искусственна, потому что она представляет собой продукт человеческой истории, то *volgare illustre* — это продукт *анти*истории. И общим для всех людей Италии является то, что когда-то они были единым народом. Конечно, они были едины во времена формирования латыни, но впоследствии из этого единства выросли испанский, французский, окситанский и так далее. Пантера Данте поймана в результате отмены истории, достаточно глубокой, чтобы достичь итальянской исключительности. История — это то, что уничтожило общий итальянский язык, и *volgare illustre* обнаруживается именно благодаря избавлению от того, что история прибавила к каждому местному диалекту, как от чего-то наносного. По Данте, проблема истории может быть улажена, но не решена, при помощи «грамоты», которая сама оказывается историческим продуктом, — историческим в худшем смысле слова: искусственным, сознательным искажением природы, грехом забвения. Историческое несходство языков — это грех забвения, пассивное искажение природы вследствие неспособности следовать основным знакам. Понятный народный язык Данте является антиисторическим в своей противоположности диалектному многообразию и классическому стандартному языку. Этот язык стремится создать альтернативную историю, то есть — неизбежно — глубоко мифическую, создавая общенациональное единство под предлогом его повторного открытия и восстановления.

Укрощение языка: Лебриха и Вальдес

Volgare illustre Данте, воплощенный в его «Божественной комедии» и сочинениях его ближайших современников — Петрарки и Боккаччо, стал образцом, по которому строились другие стандартные европейские языки эпохи Нового времени. Хотя итальянской национальной идентичности потребовалось несколько столетий для того, чтобы обрести свое политическое во-

площение, что в значительной степени было обусловлено острой заинтересованностью папы и иностранных держав в сохранении разобщенности на полуострове, другие европейские национальные идентичности смогли воспользоваться выгодами созданной Данте языковой модели намного раньше. Ему, бесспорно, удалось доказать возможность существования того, что было заявлено в названии его трактата о языке, – народного красноречия. В этом понятии «красноречия» содержалось множество общих посылок о природе общения, познания, истины, красоты и, не в последнюю очередь, о том, каким должен быть «народ». Пока его «естественный» образ речи считался непокорным (и он действительно был таким в сравнении с латынью, считавшейся искусственной после столетий упорядочения и утонченного использования), ни о каких притязаниях на автономию народа не могло быть и речи.

Уже в «Грамматике кастильского языка» Антонио де Лебрихи, первой важной грамматике современного европейского языка, заявленная цель состоит в превращении кастильского в основу современного испанского языка. Вступление к его грамматике, адресованное королеве Изабелле, начинается словами: «Язык всегда сопутствовал империи и следовал с нею таким образом, что они вместе возникали, вырастали, расцветали и приходили в упадок» (Nebrija, 1946 [1492]. P. 5–6). Затем приводятся несколько примеров языков, которые расцветали и приходили в упадок вместе с великими империями. Далее Лебриха объясняет, почему он склонен *reduir en artificio*, «сводить к искусственному созданию» кастильский язык (P. 9):

И поскольку моя цель и желание заключаются в том, чтобы всегда возвеличивать наш народ и давать людям моего языка сочинения, которые позволяют им наилучшим образом использовать свое свободное время, которое они теперь тратят впустую, читая романы или истории, окутанные тысячами неправд и ошибок, я решил прежде всего свести наш кастильский язык к искусственному созданию, чтобы то, что будет писаться на нем отныне и впредь, могло соответствовать стандарту и распространяться на все последующие эпохи, по образцу греческого и латинского языков, которые, будучи подчиненными искусству, остаются единообразными, несмотря на века.

Три цели, указанные Лебрихой, – возвеличение народа, наилучшее занятие людских умов и предотвращение перемен в языке – представляют собой три основные цели языковой мысли Возрождения вообще. Выражения *reduir en artificio* и *debaxo de arte* означают одно и то же – «искусственное» в эту эпоху все еще означало «созданный в соответствии с искусством». Лебриха воспринимал написание грамматики языка как его завоевание, покорение и подчинение. Его покоряли, как покоряют врага, и сокращали в размерах, устраняя те элементы, которые не отвечали логике и правилам. В этом и заключается «искусство» грамматики. В конце вступления Лебриха сообщает Изабелле (P. 11):

Поскольку ваше величество покорило множество варварских племен и народов с экзотическими языками, и после завоевания они должны получить законы, которые завоеватель устанавливает у побежденных, а с ними и наш язык, при помощи моего *Искусства* они смогут познать последний точно так же, как мы теперь сами познаем искусство латинской грамматики, изучая латынь.

Грамматика Лебрихи позволит недавно покоренным подданным королевы изучить кастильский и тем самым установить у себя законы Испании, сделав возможным существование и функционирование испанской империи. Империя сможет расширяться настолько, насколько широко будет простирается «сопутствующий» ей испанский язык. Это не означает, что кастильский «принадлежит» Кастилии или Испании в каком-то естественном смысле или что в нем воплощен дух Кастилии. Лебриха приводит политические и функциональные доводы: Кастилия победила и потому должны быть установлены ее законы и язык. Поскольку изучение кастильского языка покоренными народами расширяет территориальные владения Испании, возвышение языка и империи идут рука об руку.

«Диалог о языке» (1535–1536) Хуана де Вальдеса — это типичное произведение своей эпохи, в котором приводились доводы в пользу отдельного народного языка или утверждалось превосходство одного народного диалекта над другим при закладывании основ национального языка. Но главным ориентиром всегда служили греческий и особенно латынь, не только как священные языки, но и как языки, определяющие красноречие, устанавливающие стандарт, которому должен соответствовать каждый народный язык. Вопреки убежденности большинства в том, что народные языки никогда не смогут соответствовать стандарту, Вальдес мог сослаться на *toscano, volgare illustre* Данте как на пример современного языка, обладающего значительным красноречием и связанного с классическими языками. Количество написанных кастильском литературных произведений также позволяло говорить об очевидных эстетических достоинствах этого языка.

Споры о том, какой язык или диалект лучше, также касались и вопросов чистоты. Нельзя было допустить даже мысли о том, что национальный язык многое заимствовал у своих соседей, особенно если когда-то находился под их властью. Вальдес напрямую связывает наличие языкового многообразия с отсутствием политического единства и автономии в государстве и тем неизбежным фактом, что периферийные области государства имеют по крайней мере столько же общего с соседними государствами, сколько с центром и другими периферийными областями своего собственного государства:

Марцио: Поскольку мы берем за основу кастильского языка латынь, нам остается только объяснить, как произошло, что в Испании говорят на четырех других языках, а именно — каталанском, валенсийском, португальском и баскском.

Вальдес: Обычно многообразие языков в провинции вызвано двумя основными причинами; первая заключается в том, что при всяком государе, короле или властителе, откуда бы он ни происходил, существует столько же языковых различий, сколько правителей; вторая заключается в том, что, поскольку граничащие друг с другом области всегда чем-то связаны между собой, каждая часть провинции, заимствуя что-то у соседних провинций, постепенно начинает отличаться от других не только по своей речи, но и по своему говору и обычаям. Испания, как известно, находилась под властью многих правителей... Такое множество правителей, по-моему, и стало причиной различия в языках, хотя каждый из них имеет больше сходства с кастильским, чем с любым другим, потому что, хотя каждый из них и заимствовал что-то от своих соседей, как Каталония заимствовала от Франции и Италии, а Валенсия от Каталонии, в целом видно, что в основном они заимствовали из латыни, которая, как я уже сказал, составляет основу кастильского языка (Valdes, 1965 [1535–1536]. P. 47–49)

Уверенность в том, что кастильский подвергся меньшему внешнему влиянию, чем каталанский или валенсийский, подкрепляет его притязания на роль национального языка в двух отношениях: во-первых, его испанскость лучше сохранилась, и, во-вторых, чем язык ближе к своей исторической основе, тем больше вероятность быть понятым большим числом испанцев, нежели в случае других, более «искаженных» языков. Что касается баскского и португальского, Вальдес отказывается принимать их в расчет, исходя из двух полностью противоположных соображений: баскский, говорит он, попросту слишком далек от всех остальных, чтобы его можно было понять, а португальский, по сути, остается кастильским, если не считать небольших различий в произношении и орфографии².

Также велись споры о том, насколько серьезному «очищению», то есть латинизации, должен подвергнуться народный язык. Действительно, при таком очищении народный язык утрачивал свою «естественность», которая обычно была основным доводом в пользу его использования даже у тех, кто наиболее жестко настаивал на укрощении его такими средствами. Кроме того, очищению подвергались и диалекты испанского — поэтому возникает вопрос, какой именно диалект испанского должен быть взят за «основу» и действительно ли то, что было удалено из его исходной формы в результате «очищения», было чем-то несущественным и «чужеродным». Заметим, что Вальдес связывает заимствование языка с заимствованием обычаев соседей. Это ставит под вопрос само существование испанскости. Центр, защищенный от внешних влияний своим географическим положением, определяет суть национального характера и его языковые проявления.

Несмотря на риторически убедительные доводы за использование центрального диалекта в качестве основы национального языка, стратегия маргинализации периферии приводит к ровно противоположным результатам, нежели те, на которые направлено политическое строительство нации. «Испанский» (итальянский или какой-либо другой) народ представляет собой конструкцию, основанную на политических границах, которые произвольны в смысле их исторической случайности, возможности пролегания в другом месте в другие эпохи. Политико-культурной целью становится определение границ, предотвращающее их изменение (если оно не связано с расширением). Для этого необходимо убедить тех, кто живет на границах нации, вблизи этих границ, в том, что они образуют единый народ именно с теми, кто живет в центре, а не с соседями по ту сторону границы. Необходимо также убедить в этом и тех, кто живет в центре, ибо у них должны быть веские основания оплачивать войну, позволяющую сохранять национальные границы неизменными. Крестьян, составлявших раньше основу войска, не нужно было убеждать идти в армию — они делали так, как им приказывал их феодальный сеньор, и избежать этого они могли, только оставив свое поместье ради анонимной жизни в городе или за границей. Но в настоящем сражении христианскому солдату, который должен был не бояться смерти, а

² Между кастильским и португальским языками во времена Вальдеса действительно было намного больше сходства, чем сегодня, особенно на письме. Однако Вальдес серьезно преувеличивает степень этого сходства.

мечтать о славной жизни после смерти, мог потребоваться мотив для того, чтобы отдать всего себя во имя национального дела.

Таким образом, суть идей нации и национального языка заключалась в том, что они определяют отличие от ближайших соседей. Англоязычные канадцы знают, «каковы они», преимущественно благодаря чертам, отличающим их культуру и язык от культуры и языка Соединенных Штатов; то же относится и к Шотландии с Англией, французским областям и центру, северному и южному Китаю и так далее. Такая уверенность в существовании различий неизбежно тонкого порядка — с учетом близости — приводит к тому, что даже малейшие различия наполняются огромным культурным смыслом. Можно считать, что сущность нации и состоит в некоторых внешне незначительных особенностях — сохранение гуттурального фрикативного согласного в фонетической системе, церемониальное ношение килта или приготовление блюда, которое соседи считают настолько отвратительным, что смеются над ним. Неудивительно, что «эссенциализм» стал общепринятым способом понимания национальной идентичности в науке, особенно если учесть, что такая идентичность оказывается эссенциалистской в своих основных проявлениях.

Национальная идентичность — например, «итальянская» — становится означаемым, которое существует в первом только как желание. Будучи достаточно сильным, такое желание может достичь критической массы в предполагаемой нации, и когда это происходит, означаемое — «итальянский народ» — становится реальным, настолько реальным, насколько таким бывает означаемое, учитывая, что они представляют собой понятия или категории, а не действительные физические объекты.

Язык, воображаемый как республика: дю Белле

Может, итальянцы и испанцы и создали первые трактаты, диалоги и грамматики, в которых утверждалось, что их народный язык или какая-то отдельная его форма способны приблизиться к красноречию классических языков, однако остальная Западная Европа не замедлила принять в этом участие. Жоашен дю Белле написал свой трактат «Защита и прославление французского языка» (1549) с намерением доказать, что французский язык был достоин и потенциально способен использоваться в литературном и научном письме, подобно латыни и греческому. Большинство идей «Защиты и прославления» было предвосхищено Спероне Сперони в Италии и французскими авторами начала XVI века, например, Жоффруа Тори в «Цветущем луге» (1529). Но это не помешало трактату дю Белле обрести в свое время огромное влияние и стать сегодня основным элементом французского образовательного канона. Как и Лебриха, дю Белле напрямую связывает воедино языковое и политическое влияние нации:

Я верю, что придет время и благодаря счастливой судьбе французов это благородное и могущественное королевство захватит, быть может, в свою очередь бразды мирового правления и что наш язык (если только он не погребен вместе с Франциском), только еще начинающий пускать корни, выйдет из земли и достигнет такой высоты и величия, что сможет сравниться даже с греческим и латинским... (дю Белле, 1981. С. 240).

Он признает парадокс, связанный с тем, что для достижения необходимого красноречия французский язык вынужден заимствовать отдельные элементы и аспекты тех самых языков, на которые он пытается равняться. В следующем отрывке дю Белле выражает это при помощи пары метафор: первая — экономическая (наш язык в состоянии передать заимствуемое), вторая — сельскохозяйственная (он приносит плоды тем, кто его возделывают), прежде чем связать все это непосредственно с *любовью к родине*.

Наш французский язык не настолько беден, что не может верно передавать заимствуемое у других, не настолько бесплоден, что не может сам производить добрые плоды, — конечно, при известном мастерстве и прилежании его возделывателей, — если только найдется хоть несколько друзей своей страны, да и друзей самим себе, которые приложат к этому свои силы (Там же).

Заимствование слов стало едва ли не навязчивой идеей дю Белле, и это понятно, потому что потребность в заимствовании предполагает бедность языка и в то же самое время делает возможным его обогащение. Отсюда бесконечный поиск метафор, позволяющих оправдать заимствование, наиболее интересной из которых, наверное, является та, в которой он представляет язык в качестве эквивалента нации, а отдельные слова в качестве иммигрантов, которым удастся или не удастся прижиться, то есть проникнуть в национальную идентичность («семью»):

Я полагаю, что искусство переводчиков, точных в данном случае, очень полезно и необходимо, и не следует медлить, если встречаются иногда слова, для которых не находится подходящего слова во французском языке; ведь сами римляне считали не всегда необходимым переводить все греческие слова, такие как риторика, музыка, арифметика, геометрия, философия... и главным образом большинство терминов, употребляемых в естественных и математических науках. Эти слова будут в нашем языке, как иностранец в каком-нибудь городе... И если философия, посеянная Аристотелем и Платоном на плодородную аттическую почву, будет пересажена на наши французские поля, это не значит, что она будет брошена среди терний и колючек и станет бесплодной, но наоборот, тем самым мы сделаем ее из далекой — близкой, из иностранки — гражданкой нашей республики. (Там же, с. 247)

Так, и язык, и культура подобны «республикам», населенным в одном случае словами, а в другом — идеями³. Конечно, не всякому чужеродному элементу, проникающему в республику, будет предоставлено гражданство, но те, что смогут принести существенную пользу республике, будут приняты с радостью и смогут, подобно пересаженным семенам, не только расцвести на французской почве, но и стать французскими растениями. Любопытно, что дю Белле прямо говорит об «иностранце в каком-нибудь городе», городах, население которых сильно перемешано и где высока вероятность встречи с иностранцем, а также там, где появится национальный язык — отчасти как *lingua franca* для вновь прибывших в город из различных диалектных областей, отчасти благодаря тому, что город был средоточием правовых, управленческих, образовательных и коммуникационных институтов, играющих ведущую роль в формировании языка.

³ Дю Белле явно употребляет слово «республика» в общем смысле «государства», а не в более узком смысле противопоставления республики монархии или олигархии.

Одним из основных изменений в европейской мысли последующих двух с половиной веков, приведших к романтическому периоду, стало постепенное укрепление убежденности в том, что города из-за заметного присутствия в них чужеродных элементов *на самом деле* не имеют никакого отношения к нации: подлинная нация находится в деревне. Теперь понятно, что вопрос о том, *что же такое нация на самом деле*, присутствовал в спорах о языке эпохи Возрождения только в виде одного из риторических тропов в рассуждениях, связанных с расширением функциональной сферы отдельного языка или диалекта. Во второй половине XVIII века этот вопрос стал намного более важным, осуществившись в Америке и Франции в революционном действии, а в Германии, по крайней мере на первых порах, в философском созерцании. Тогда, в начале XIX века, политические события вывели его за пределы философии для немцев и, в сущности, всей Европы. И в этой сложной обстановке конца XVIII – начала XIX веков начали складываться современные идеи «нации» и «национализма».

Фихте о языке и нации

В 1799 году генерал Наполеон Бонапарт фактически захватил власть во Франции. В 1803 году он также возглавил Итальянскую республику, а в 1804 году французский сенат и народ провозгласили его своим императором. За следующие шесть лет в состав его империи вошла большая часть Европы. Именно в этот период мыслителям немецкого романтизма, многие из которых прежде превозносили Наполеона как героя, считая его воплощением возможностей человеческой воли, пришлось столкнуться с тем, что их собственная страна была покорена им, а сами они стали подданными его империи. Этот опыт вызвал к жизни представления о несправедливости такого имперского правления и о естественности национального правления.

Но каковы «естественные» границы нации? Это был ключевой вопрос, ответ на который казался очевидным каждому, когда наиболее распространенное определение слова «нация» было связано с территориальным пространством. Естественными границами были географические преграды, морское побережье, горные цепи или крупные реки, которые делали нацию менее досягаемой для соседей. Но, в принципе, ничто не мешало воспринимать «Европу» как нацию, а не как империю, состоящую из наций. Ни одна из естественных преград в ней не была непреодолимой (за исключением Ла-Манша). В частности, больше всего немецких романтиков беспокоило отсутствие обширных земельных территорий или водной преграды, отделявшей их нацию от соседей на востоке или западе.

Если право немецкой нации на автономию подкреплялось чем-то более важным для романтического сознания, нежели простое историческое различие, чем-то негеографическим и в то же самое время кажущимся изначальным, то необходимо было установить «естественную» границу. Одним из решений могло стать возвращение к религии, на которой покоилась вся династическая система эпохи Средневековья. Но вся Европа была формально христианской, и несмотря на сильные доктринальные различия в западном христианстве, прежде всего связанные с отделением протестантов от рим-

ских католиков, немцы, в частности, не могли играть на них, опасаясь ослабить единство Запада в условиях угрозы со стороны православных славян на востоке. Кроме того, после эпохи Просвещения европейская мысль стала в основном светской. Религиозные идеи относились либо к прошедшей эпохе, либо к становившейся все более и более специализированной области богословия.

Наиболее убедительный ответ был предложен Фихте в 1806 году в его «Речах к немецкой нации», где он утверждал, что определяющей особенностью нации служит ее язык:

Первыми изначальными и по-настоящему естественными границами государств, несомненно, оказываются их внутренние границы. Те, кто говорит на одном языке, связаны друг с другом множеством невидимых уз самой природы задолго до возникновения всякого человеческого искусства; они понимают друг друга и способны и дальше развивать взаимопонимание; они связаны друг с другом и по природе образуют единое и неделимое целое. (Fichte, 1968 [1808]. P. 190–191)

Несмотря на контекст, в котором писал Фихте, язык ни в коей мере не был очевидным кандидатом на роль основного признака нации. Считалось, что европейские языки в большинстве своем восходили к общему языковому предку, причем различия между ними были просто побочным историческим результатом выделения из первоначального племени различных подгрупп, которые осели в различных частях континента, разделенных географическими преградами — естественными и исконными границами наций, и оставались изолированными в течение продолжительных промежутков времени. Фихте полностью перевернул традиционные представления:

По этой внутренней границе [языка], проводимой духовной природой самого человека, в результате и происходит разметка внешней границы по месту проживания; и при естественном взгляде на вещи отдельные люди образуют народ не потому, что они живут между определенными горами и реками, а, напротив, потому, что они живут вместе — и если им улыбнулась удача, то под защитой рек и гор, — потому, что они уже были народом согласно намного более высокому закону природы.

Таким образом, немецкая нация находилась — достаточно сплоченная сама по себе общим языком и общим образом мысли и достаточно резко отделенная от других народов — посреди Европы, подобно стене, разделявшей неродственные народы (Ibid.).

Основное значение сочинений Фихте заключалось в том, что они побудили немцев восстать против наполеоновского правления. Точка зрения, которой он придерживался, ни в коей мере не была исключительно политической; она вызвала серьезный отклик лишь потому, что она прекрасно отвечала системе идей немецкого романтизма в целом. Неоплатоновская по своему характеру, она ориентировалась на область вечных идеалов и связывала реальность не с миром поверхностных явлений и исторических случайностей, а с постоянной, неизменной сущностью вещей. В чистом виде сущность нации воплощалась в ее основателе и сохранялась на всем протяжении истории нации, составляя основу ее языка, культуры, образа мысли и интеллектуальных и художественных достижений. Однако смешение с другими нациями означает растворение этой сущности.

Такое целое [как нация, определенная языком] в своем стремлении поглотить и смешать с собой какой-то другой народ иного происхождения и языка не может избе-

жать, по крайней мере поначалу, смятения и серьезного искажения развития своей культуры (Ibid.).

Эта отдельная сторона романтической мысли, которая логически вытекает из ее основных принципов, привела к развитию «научного расизма» в середине XIX – середине XX веков и ужаснейшим последствиям в истории человечества. Предвосхитили ли такое развитие сочинения той эпохи – вопрос спорный, но в случае Фихте можно вполне уверенно говорить о том, что его цель заключалась в спасении немецкой нации, языка и культуры от того, что казалось тогда несомненным и непреодолимым, – господства французов. Поэтому вряд ли его соотечественники считали приравливание поглощения к смешению логическим обоснованием геноцида.

Ренан и спор между Кедури и Геллнером

Во второй половине XIX века во Франции произошли события, которые поставили ее в положение, схожее с тем, в котором находились немцы семью десятилетиями ранее. В 1863–1871 годах Пруссия во главе с Отто фон Бисмарком объединила немецкую нацию под своей гегемонией после победоносных войн против Дании, Австрии и Франции. Кульминация Франко-прусской войны с осадой Парижа в 1870–1871 годах была для современного национализма во многих отношениях определяющей: она завершилась провозглашением Германской империи – современной Германии, какой мы ее знаем, – и аннексией этой империей территорий Эльзаса и Лотарингии, которые неоднократно переходили то под власть Франции, то под власть Германии, где местные диалекты были немецкими, но в политическом отношении население целиком было на стороне Франции. Париж продолжил сопротивляться новой Германской империи даже после того, как остальная Франция сдалась, и в течение двух месяцев находился под властью Коммуны, свободно организованного пролетарского «коммунистического» правительства, которое в конечном итоге было подавлено новым французским национальным временным правительством, созданным по соглашению с Пруссией.

Воздействие этих событий на дух Франции сравнимо с воздействием побед Наполеона на немцев в начале XIX века, которое привело, среди прочего, к появлению сочинений Фихте о национализме. Рассуждения Фихте о языке, определяющем нацию, естественно, стали основным оправданием германской аннексии Эльзаса и Лотарингии. Этот образ мысли оказал настолько сильное влияние на современную европейскую идею национализма, что даже французы, которые искренне считали, что Эльзас и Лотарингия должны быть французскими, не могли найти явного опровержения языкового аргумента. И, наконец, лингвист Эрнест Ренан предложил в ответ новую идею национализма, и именно она стала основой вильсоновских принципов, определивших пересмотр политической карты мира в Версале в 1919 году.

Поворотным пунктом принято считать лекцию Ренана «Что такое нация?», прочитанную в 1882 году. Концепция нации Ренана восходила к романтической идее об общей *вте* (слово, обозначающее и «дух» и «душу»), что было довольно предсказуемо, так как его подход к языку, сознанию и расе

сложился в 1840-х годах под влиянием Гердера. Но Ренан преодолевает романтизм, выделяя составляющие этой *вте*, а именно — наследие воспоминаний и желание сохранить это наследие:

Нация — это душа, духовный принцип. На самом деле эта душа, этот духовный принцип, состоит из двух частей. Одна — это прошлое, другая — это настоящее. Одна — это общая собственность богатого наследия воспоминаний; другая — это современное согласие, желание жить вместе, желание сохранить полученное наследство (Renan, 1882. P. 26).

Иными словами, нация существует в умах — воспоминаниях и воле — людей, из которых она состоит. К этой идее обратился Андерсон в своем определении нации как «воображаемого политического сообщества». Отмеченное Ренаном «наследие воспоминаний» определило будущие философские и научные попытки анализа национальной идентичности. Другой составляющей, коллективной «воле» людей, удалось оказать серьезное воздействие на политику, начиная с Версаля, и она до сих пор остается общепризнанным основанием законности политической нации.

Ренан неожиданно оказался в центре первого крупного современного спора о национализме, который произошел между двумя еврейскими учеными после окончания Второй мировой войны. Кедури вырос в Ираке, стране, искусственно созданной Британией; после создания нового государства Израиль он ненадолго поселился в нем, а затем продолжил свою научную деятельность в Лондоне. Эрнест Геллнер, как и Ганс Кон, эмигрировал из нацистской Германии, правда, не в Америку, а в Лондон. Геллнер и Кедури стали друзьями, и оба они признавали, что каждый из них сыграл важную роль в изложении двух по своей сути противоположных представлений о природе национализма, представлений, отражавших различия в их жизненном опыте.

Между ними были два основных расхождения. Первое заключалось в том, что, по Геллнеру, представление Кедури о национализме как о «доктрине, которая была изобретена в Европе в начале XIX века», превращает его из результата естественного, необходимого, всеобщего исторического развития, каким он, как считалось, был, в нечто «совершенно *случайное*, несущественное изобретение, побочный продукт случайной совокупности мыслителей в особой исторической обстановке» (Gellner, 1997. P. 10). Геллнер считал заслугой Кедури свое пробуждение из «догматического сна»: «Пока я не прочел его книгу, я придерживался представления (или, по крайней мере, не сомневался в его обоснованности) о “естественности” национализма» (Ibid.). Но, соглашаясь с мыслью Кедури о том, что нации не являются неизбежной исторической судьбой всего человечества, Геллнер отвергал следующий вывод о том, что национализм представляет собой всего лишь идеологическую случайность, которая никогда бы не возникла, если бы Кант и Фихте не написали того, что они написали:

Национализм не является ни общезначимым и необходимым, ни второстепенным и случайным плодом праздных шелкоперов и легковверных читателей. Он представляет собой неизбежное следствие или коррелят определенных социальных условий. Поэтому национализм вовсе не случаен: его причины глубоки и важны, он на самом деле является нашей судьбой, а не какой-то случайной болезнью, которой нас заразили писаки конца эпохи Просвещения. Но, с другой стороны, глубокие причины, вы-

зываются его, встречаются не везде, а потому национализм не является судьбой всего человечества. Он оказывается весьма вероятной судьбой одних народов, но вряд ли ему удастся стать судьбой многих других. Наша задача состоит в том, чтобы выделить различия, которые разделяют народы, тяготеющие к национализму, и народы, стойкие к нему (Gellner, 1997. P. 10–11).

Не считая биографическое объяснение универсальным, все же без труда можно понять, насколько насущной казалась эта задача тому, кто потерял своих родственников во время геноцида, организованного фанатичным националистическим режимом, и что такому человеку идея национализма как простой идеологической абстракции могла казаться совершенно неубедительной.

Во всяком случае, Геллнер приступил к решению задачи, которую он определил для себя сам. Одним из наиболее заметных факторов при создании народов, тяготеющих к национализму, было, по его мнению, отмеченное еще Фихте наличие общего языка. В результате, современные исследователи национализма и национальной идентичности склонны были вслед за Геллнером считать язык основным фактором. Распространению этой тенденции способствовал общий «постструктуралистский» настрой, при котором *все* социальные структуры рассматривались как языковые конструкции. Предложенная Кедури альтернатива – превращение языка из изначальной связующей силы нации в одно из идеологических общих мест националистической риторики – встретила благожелательный отклик у тех же постструктуралистов, опасавшихся эссенциалистского придания определяющего значения языку или какому-то другому фактору⁴.

Второе расхождение между Геллнером и Кедури было связано с тем, что у последнего было кантианское понимание нации, построенное по образцу

⁴ Геллнер (Gellner, 1964, Ch. 7) утверждал, что национализм лучше считать следствием неравномерного развития модернизации, ставшего причиной серьезных экономических и социальных сдвигов, разрушения традиционного образа жизни и переселения людей из деревни в город. Традиционные деревенские и племенные структуры, на которых покоилась социальная организация, перестали работать и должны были быть заменены, а в городском контексте заменой им мог стать язык и основанная на языке культура, особенно печатная. Современное государственное образование возникло благодаря печатному слову и стало институтом создания новых социальных иерархий, основанных на грамотности и языковых стандартах. Но новые иерархии порождали и новые противоречия, так как люди боролись за сохранение старых привилегий при новом режиме. Этнические объединения приобрели новое значение в этой борьбе, и из этого нового этнического сознания развились националистические движения, «изобретавшие» нации там, где их на самом деле не существовало. В более поздних работах Геллнер (Gellner, 1973; Геллнер, 1991) пересмотрел свою теорию с учетом некоторых обстоятельств, которые она была не в состоянии объяснить. Одно из них было связано с определяющим значением, которое он придавал языку: можно было предположить, что при отсутствии общепризнанного национального языка возникновение национализма было невозможно, несмотря на множество свидетельств обратного, например, в арабоязычном мире и испаноязычной Латинской Америке (а также англоязычном мире, где, несмотря на использование одного языка, по-прежнему существуют американцы, канадцы и другие нации). Кроме того, присутствие различных языков не мешало созданию относительно устойчивых наций, как в случае Швейцарии. Поэтому позднее Геллнер стал придавать особое значение не языку, а институциональной структуре государственной системы образования и ее роли в определении и поддержании культуры, в которой национализм как политический принцип присутствует и осуществляется самыми разными способами.

романтического идеала личности. По Геллнеру, строение нации всецело социально. В подтверждение этого он приводил известное высказывание Ренана о том, что «жизнь нации — это, да простят мне такое сравнение, ежедневный плебисцит» (Renan, 1882. P. 271), а также его описание ментального устройства нации, основанного не только на общих воспоминаниях, как принято считать, но и на общем забывании, отказе замечать различия между группами, образующими нацию, а также забывании того времени, когда они не были единой нацией.

По иронии судьбы Ренана сегодня помнят за его модернистские по виду высказывания, хотя, как отмечалось ранее, он был одним из тех лингвистических мыслителей XX века, которые наиболее полно развили эссенциалистское представление о языке. В своей знаменитой ранней работе о происхождении языка Ренан развивал идеи немецкого романтизма, изложенные Гумбольдтом, о том, что структура языков должна полностью существовать уже в момент их создания (Renan, 1858. P. 105–106). По мнению Ренана, первобытный человек создавал свой язык так же легко, как и ребенок (Ibid. P. 98), не прилагая при этом волевых усилий, но позволяя языку стихийно и естественно развиваться в соответствии с его физическими и умственными способностями (Ibid. P. 92–93). Вообще взгляды Ренана были близки к взглядам Гердера, но он отвергал идею Гердера о том, что *мысль* была ключом к происхождению языка, и возвращался к эпикурейской идее языка, исходящего из тела, точнее, из этнического тела. Подобно Фихте и Гумбольдту, Ренан считал, что «сознание каждого человека тесно связано с его языком» (Renan, 1858. P. 190).

«Воображаемые сообщества» Андерсона и «банальный национализм» Биллига

Наиболее ярко сопряжение Ренана и Геллнера проявилось в предложенном Бенедиктом Андерсоном знаменитом определении нации как «воображаемого политического сообщества»:

Оно *воображенное*, поскольку члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев-по-нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности. Ренан в своей особой вкрадчиво двусмысленной манере ссылаясь на это воображение, когда писал, что «сущность нации в том и состоит, что все индивиды, ее составляющие, имеют между собой много общего и в то же время они забыли многое из того, что их разъединяет». Геллнер несколько утешительно высказывает сопоставимую точку зрения, утверждая: «Национализм не есть пробуждение наций к самосознанию: он *изобретает* нации там, где их не существует». (Андерсон, 2001. С. 31).

Как и в случае «открытия» национального языка, важнейшей составляющей этого изобретения или воображения нации оказывается создание веры в то, что нация не была изобретена. Иными словами, ее изобретение забывается. Ибо, будучи изобретенной, нация была бы попросту искусственной и случайной, а значит, необоснованной. Поэтому должен быть создан миф о *естественности* и подлинности нации. Если письменной истории данная нация не знакома, то миф (или, чаще, комплекс мифов), при необходимости

будет распространен на доисторические времена с тем, чтобы закрепить ее притязания на законность. Далее Андерсон объясняет, что нация

...воображается как *сообщество*, поскольку независимо от фактического неравенства и эксплуатации, которые в каждой нации могут существовать, нация всегда понимается как глубокое, горизонтальное товарищество. В конечном счете именно это братство на протяжении двух последних столетий дает многим миллионам людей возможность не столько убивать, сколько добровольно умирать за такие ограниченные продукты воображения (Там же. С. 32).

Основные организационные структуры, предшествовавшие современной идее нации, а именно — религиозной общины и династической монархии, имели вертикальное, а не «горизонтальное» устройство. Власть нисходила от бога к верховной человеческой власти — религиозной или светской, — а от нее на остальное сообщество. Особенность современной мысли заключалась в том, что эти вертикальные иерархии стали считаться мифическими, служащими интересам верхушки и угнетению низов. И потому они стали частично замещаться «горизонтальной» нацией, представители которой были в каком-то смысле равными членами. Определяющим теперь становится проживание на одной территории, и оно превосходит даже религиозные, культурные и классовые различия. Но как в этом случае можно заставить людей сражаться во имя нации, зачастую против своих единоверцев? Именно для этого и нужна была новая мифология.

Во многом отталкиваясь от предложенного Сетон-Уотсоном (Seton-Watson, 1977) описания языкового различия как основы национализма, Андерсон связывает начавшееся с эпохой Возрождения создание национальных мифов с отказом от

представления о том, что какой-то особый письменный язык дает привилегированный доступ к онтологической истине, и именно потому, что он — неотделимая часть этой истины... Происходил поиск, так сказать, нового способа, с помощью которого можно было бы осмысленно связать воедино братство, власть и время. И, наверное, ничто так не способствовало ускорению этого поиска и не делало его столь плодотворным, как печатный капитализм, открывший для быстро растущего числа людей возможность осознать самих себя и связать себя с другими людьми принципиально новыми способами (Андерсон, 2001. С. 58–59).

У этих новых представлений о себе уже имелась готовая основа: национальные языки, которые, по мнению Андерсона, появились в XVI веке в результате «постепенного, неосознаваемого, прагматичного, если не сказать случайного процесса» (Там же. С. 65); «в своих истоках застывание печатных языков и дифференциация их статусов были по большей части процессами неосознанными» (Там же, С. 68). Обоснованность этих представлений будет рассмотрена в следующем разделе этой статьи.

Национальность — это не обязательно идентичность, за которую люди готовы умереть. Не менее важны региональные и местные, а также классовые, расовые и религиозные идентичности. Даже языковая идентичность может быть самоцелью, хотя она, как правило, переживает квазирасовое превращение. Принимая во внимание важность этих идентичностей при определении представлений индивидов о самих себе, можно предположить, что идентичности должны покоиться на чрезвычайно глубокой ос-

нове тысячелетней культурной традиции. Так обычно обстояло дело с древними организационными структурами религиозных общин и династических монархий, но современные структуры, наподобие нации, обычно покоятся на куда менее глубоких и часто совершенно символических основаниях⁵.

Во многих отношениях позиция Андерсона была расширена и разъяснена Майклом Биллигом. Термин «воображаемое сообщество» может означать, что нация «зависит от непрерывного воображения ее существования» (Billig, 1995. P. 70). Вместо этого первоначальное «воображение» иногда *воспроизводится* через целенаправленное развертывание национальных символов, но в основном через повседневные привычки, которые осознаются нами весьма смутно или не осознаются вовсе.

В качестве примера можно привести национальный флаг, вывешенный перед почтовым отделением, или национальные символы на монетах и банкнотах, используемых нами в повседневной жизни. Биллиг вводит термин *банальный национализм* для описания

идеологических привычек, которые делают возможным воспроизводство сложившихся западных наций. Эти привычки не исчезли из повседневной жизни, как предполагают некоторые наблюдатели. Каждый день нация отмечается или «обозначается» в жизни своих граждан. Национализм, не будучи колеблющимся настроением сложившихся наций, представляет собой эндемическое состояние (Billig, 1995. P. 6).

Эта идея, возможно, неявно присутствовала у Андерсона, когда он ссылался на слова Ренана о необходимости «забывания». Однако Андерсон на этом останавливается и связывает национализм с тем, что Биллиг называет «призывно развевающимся флагом», забывая об «обычных флагах», наподобие тех, что жалко висят перед почтовыми отделениями и осуществляют воспроизводство банального национализма, будучи «забытым напоминанием» (Ibid. P. 8) — его значение «забыто» наблюдателем, но все же присутствует в глубине его сознания. Мысль Биллига заключается в том, что исследователи национализма склонны уделять внимание открытому национализму, то есть меньшинству людей, и пренебрегать банальным национализмом, связанным с повседневной жизнью каждого (в том числе и националистов). Более того, он говорит о существовании

идеологической системы, в которой «наш» национализм (национализм сложившихся наций) забывается: он перестает казаться национализмом, исчезая в «естественной» среде «обществ». В то же самое время национализм определяется как нечто опасно эмоциональное и иррациональное: он воспринимается как проблема или состояние, которое избыточно по отношению к миру наций. Иррациональность национализма проецируется на «других» (Ibid. P. 38).

С его точки зрения, «идентичность следует искать в устоявшихся привычках общественной жизни» (Ibid. P. 8), в том числе и в языке.

⁵ В частности, Энтони Смит подчеркивает, что попытки создания национализма в значительной степени связаны с возвращением к прошлому в интересах «этносимволизма», см., напр.: (Смит, 2004. С. 312–361).

Следующий аспект национальной идентичности, который будет рассмотрен в этой статье, не получил подробного изложения у Биллига, хотя он и упоминает о нем, ссылаясь на высказывание Саида (Said, 1983) о том, что нации являются не только воображаемыми, но и «интерпретативными сообществами», поскольку требуется создание не только идеи нации, но и всей истории, основанной на особой интерпретации описанных событий. Действительно, идентичности связаны не только с представлениями их носителей (или потенциальных носителей), но и с осмыслением и интерпретацией таких представлений. По утверждению группы социологов,

Национальные идентичности, по сути, не фиксированы и не даны изначально, а во многом зависят от утверждений, которые люди делают в различных контекстах в различное время. Процессы идентичности основываются не только на этих утверждениях, но и на том, как такие утверждения принимаются, то есть получают поддержку или отвергаются многими другими (Bechhofer et al., 1999. P. 515).

Но мы не можем пренебрегать и тем, что думают о нас другие. Однако необходимо заметить, что наиболее важным из всех утверждений касательно национальной идентичности оказывается утверждение о том, что идентичность *действительно* закреплена и дана, *действительно* предопределена нашим рождением и остается, по сути, неизменной на протяжении всей нашей жизни. С точки зрения конструктивистов, эссенциалисты не способны понять прошлое мифа, связанного с изучаемой идентичностью. В то же самое время конструктивисты и сами должны старательно избегать возможных ошибок, связанных с отрицанием «мифа» как простого заблуждения, которое само по себе не заслуживает внимания исследователя. В конечном счете, такую культурную конструкцию невозможно отделить от национальной идентичности в целом.

Преодоление языкового эссенциализма: Хобсбаум и Сильверстейн

Хотя Эрик Хобсбаум был на несколько лет старше и Кедури, и Геллнера, он обратился к изучению национализма спустя более двадцати лет после того, как они задали границы нынешних рассуждений об этой проблеме. Как и многие другие современные исследователи национализма, Хобсбаум родился в еврейской семье в Германии и прибыл в Англию в 1933 году, хотя и не в качестве беженца. Но, в отличие от других, он был членом Коммунистической партии с 1936 по 1991 год и по сей день остается преданным марксистом. Поэтому неудивительно, что в его подходе национализм не является основным объяснением политических событий и человеческого поведения, а оказывается связанным с более глубокими социально-экономическими факторами. Но благодаря мастерству Хобсбаума как историка, особенно экономического историка, к его взглядам серьезно относятся даже те, кто считает других крайне левых ученых фанатиками. Также важно, что его серьезная переоценка национализма появилась именно тогда, когда старые разногласия времен «холодной войны» стали историей.

Согласно Хобсбауму, дискурс национализма, в том числе заметная роль, приписываемая национальному языку, скрывает другие, более глубокие интересы, и было бы ошибкой принимать этот дискурс за чистую монету. Ни-

кто не спорит с тем, что утверждение современной идеи нации в конце XVIII века было вызвано политическими причинами, однако идеи естественного права народа на самоопределение предполагали его обособление не только от враждебных внешних держав, но и от правящего класса своей страны:

...Самым важным в низовом восприятии «нации-народа» было именно то, что подобная «нация» представляла общие интересы, общее благо в противовес частным выгодам и личным привилегиям, — о чем свидетельствует и сам использовавшийся до 1800 года термин «американцы», позволявший говорить о единстве нации, не прибегая к слову «нация». С этой революционно-демократической точки зрения этнические различия между группами были столь же второстепенными, как и в восприятии позднейших социалистов. Совершенно ясно, что отнюдь не этнические характеристики и не язык отличали американских колонистов от короля Георга и его сторонников, и напротив, Французская республика не видела никаких препятствий к тому, чтобы избрать в свой Конвент англо-американца Томаса Пэйна.

А значит, мы не вправе задним числом приписывать идее революционной «нации» что-либо похожее на позднейшие националистические программы образования национальных государств для сообществ, которые определялись согласно столь горячо обсуждавшимся теоретиками XIX века критериям — этнической принадлежности, общности языка, религии, территории и исторических воспоминаний... (Хобсбаум, 1998. С. 34–35).

Хобсбаум соглашается со своими предшественниками (и, в том числе, с Андерсоном) в том, что национальные языки играют в этом дискурсе важную роль. Но, в отличие от Андерсона, принимающего национальный язык как данность, образующую основу, на которой может быть построена остальная часть национальной идентичности, Хобсбаум понимает, что национальный язык сам по себе является дискурсивной конструкцией:

Национальные языки... представляют собой противоположность тому, чем их склонна считать националистическая мифология, т.е. первоосновой национальной культуры и глубочайшим истоком национального самосознания. Обычно это результат попыток построить единый образцовый язык из множества реально существующих в живой речи вариантов, которые низводятся затем до уровня «диалектов» (Там же. С. 86).

Все историки национального или стандартного языка (за исключением отъявленных фанатиков) приходили именно к такому выводу. Но, в отличие от Хобсбаума, историки национализма, как правило, не интересовались работами историков языка, а сами историки языка редко осознавали значение собственных открытий. Между тем я думаю, что ни один лингвист не дал столь же емкого и краткого определения стандартного языка, какое было дано Хобсбаумом: стандартный язык — это «некая платоновская идея языка, которая скрыто существует за всеми его несовершенными вариантами» (Там же. С. 92). Затем происходит «мистическое отождествление национальности» с этой идеей языка, отождествление, которое, по мнению Хобсбаума, «характеризует, скорее, идеологические построения националистически настроенных интеллектуалов (пророком которых является Гердер), нежели реальное самосознание обычных носителей данного языка. Это чисто «литературная», а не экзистенциальная концепция» (Там же. С. 92). И здесь я не вполне согласен с Хобсбаумом: так как хотя *исторически* в момент первоначального создания национальный/стандартный язык действительно явля-

ется собственностью националистических интеллектуалов, а не простых людей, он перестает быть таким, как только попадает в сферу образования и через нее получает широкое распространение. В этом случае языковая идеология становится собственностью всей нации, и вероятность встретить ее твердых приверженцев среди рабочих, непричастных к ее созданию, ничуть не меньше, чем среди высших классов, которые и выступают в качестве ее создателей. В следующей главе Хобсбаум отмечает, что воодушевление языковым национализмом исторически было свойственно именно *низшему разряду среднего класса*:

Те группы, чья судьба прямо зависела от предоставления официального статуса письменному языку данного народа, занимали скромное общественное положение, однако принадлежали к образованным слоям. Сюда относились лица, которые вошли в низший разряд среднего класса именно потому, что их профессия, не связанная с физическим трудом, предполагала специальную подготовку и обучение (Там же. С. 186–187).

Они также стали оплотом национализма — не только активно размахивая флагами по символическим событиям, но и повседневным банальным образом, описанным Биллигом, включая использование «правильного языка» и соблюдение норм, например, в общении с собственными детьми. Хобсбаум полагает, что «национальная идентичность» в нашем обычном понимании на самом деле восходит к лавочникам и клеркам викторианской эпохи, завидовавшим верхушке общества с ее клубами и аристократическими титулами и рабочим, которые могли связать свою идентичность с социализмом:

...Если они жили в национальном государстве, то именно национализм давал им чувство национальной самоидентификации, которое пролетарии черпали в своем классовом движении. Можно предположить, что низшие слои среднего класса — как те его группы, которые, подобно ремесленникам и мелким торговцам, оказались теперь экономически беззащитными, так и те категории, которые были в значительной мере столь же новыми, как и рабочий класс (ввиду беспрецедентного расширения слоя «белых воротничков» и вообще лиц, чья профессия предполагала высшее образование) — видели в себе скорее не класс как таковой, но некое сообщество самых ревностных и лояльных, а потому и самых «уважаемых» сынов и дочерей своей родины (Там же. С. 195).

Иными словами, хотя их действительная идентичность была идентичностью социального класса, они скрывали ее от себя и от других в национализме, а своим стремлением «говорить правильно», считавшимся признаком респектабельности, они способствовали языковому конструированию своей нации.

Геллнер уже говорил о том, что, хотя национализм возник как идеология в начале XIX века, решающие события произошли в 1870–1871 годах и позднее. У Хобсбаума этот период приобретает поистине решающее значение, поскольку именно тогда идеологические представления о нации и языке, прежде ограничивавшиеся интеллектуалами и правящей элитой, впервые спустились вниз, к широким народным массам, и, в конечном счете, достигли даже рабочего класса. Хобсбаум отмечает, что такое развитие событий привело к серьезным последствиям. Если прежде притязания народа на то, чтобы быть «нацией», принимались всерьез только тогда, когда его численность превышала некий негласный порог, то с последней четверти XIX века

любая народность, которая считала себя «нацией», могла добиваться права на самоопределение... и именно вследствие увеличения числа этих потенциальных «неисторических» наций — все более важными, решающими (и даже единственными) критериями национальной государственности становились этнос и язык (Там же. С. 163).

По-видимому, это противоречит тому, что мы наблюдали в более ранних рассуждениях об использовании языка при определении нации, особенно у Фихте. Хобсбаум позволяет нам по-новому прочесть Фихте и других его современников сквозь призму последней четверти XIX века, показав последствия, которые Фихте и его современники не в состоянии были предвидеть и которые являются определяющими для нас в вопросах национализма. Кроме того, возможно, мы переоцениваем влияние Фихте и его коллег-интеллектуалов на их соотечественников, которых, в конечном счете, такие споры почти не интересовали.

Событием, изменившим интеллектуальный климат современной эпохи, было возникновение и распространение идеи эволюции, связанной, в частности, с именем Чарлза Дарвина. Одним из многих последствий, которое Дарвин не мог предвидеть, было использование теории эволюции для «научного» обоснования веры в существование расовых различий интеллектуального и морального порядка. По мере распространения таких идей в популярной культуре основополагающий характер этнических различий постепенно становился все более «очевидным», а вместе с ним и естественное право различных наций на создание отдельных государств. Тем не менее, одна из проблем, как отмечает Хобсбаум, заключается в том, что этнические различия не всегда легко обнаружить на физическом уровне, по крайней мере если речь идет о действительных различиях. Там же, где различия в языке соответствовали этническим различиям, они, по-видимому, составляли более объективную основу для проведения границ, несмотря на утверждения ведущих лингвистов о том, что язык *не* имеет никакой прямой исторической связи с этнической общностью, о чем свидетельствует хотя бы существование народов, говорящих на двух языках. Но желание создать национальное отличие позволяло пренебрегать противоречиями.

Несмотря на постоянное подчеркивание Хобсбаумом влияния классовых сил на возникновение языкового национализма, его работа, бесспорно, позволила преодолеть априорный подход Андерсона к языку в идентичности. Выдающийся специалист в области лингвистической антропологии Майкл Сильверстейн не так давно выступил со схожей по духу критикой андерсоновского использования «языка при моделировании культурной феноменологии национализма» (Сильверстейн, 2005. С. 108–127). Его критика, которая в значительной степени основывается на весьма необычном прочтении лингвистических идей Уорфа, завершается утверждением о том, что Андерсон ошибочно принимает дискурсивные образования за «реальный» языковой национализм:

Андерсон, по-видимому, ошибочно принимает диалектически созданный троп «мы» за реальность. Кажется, он не понимает, что диалектическая работа политических процессов, которые создают общее пространство реалистического повествования в стандартизованном языке, сама нуждается в описании и объяснении (Там же. С. 124).

Режим языка, от которого зависит такая диалектика, зачастую представляет собой хрупкий социально-политический порядок, пропитанный спорами, вызванными дей-

ствительным многоязычием, разноречием и другими индексами, по крайней мере, потенциально фундаментальных политико-экономических конфликтов. Такой режим языка, однако, подпитывается и в каком-то смысле поддерживается при помощи ритуально-символического тропа «мы». Он предстает таким у Андерсона, который принимает этот троп за очевидную воображаемую «реальность» (Там же. С. 126–127).

И вновь трудно не согласиться с критическими высказываниями Сильверстейна о том, что в своем описании конструирования национальной идентичности Андерсон считает язык чем-то само собой разумеющимся и неизменным, тогда как на самом деле язык весьма изменчив. Иными словами, в основе конструктивистского подхода Андерсона к национализму лежат эссенциалистские представления о языке. Можно предположить, что Андерсон идет на это ради простоты объяснения. Но, по мнению Сильверстейна, как и по мнению Хобсбаума, это ложная простота. Национальные языки и идентичности находятся в сложном, если угодно «диалектическом», взаимодействии, которое должно составлять объект интереса и изучения.

Однако Сильверстейн идет еще дальше и утверждает, что «реальными» фактами являются только «политические процессы» и «политико-экономические конфликты», составляющие основу дискурса, посредством которого национальный/стандартный язык ведет борьбу за свое существование. «Мы», на котором строится воображаемое сообщество, представляет собой лишь один из «тропов» этого дискурса. «Ритуальная символизация» этого «мы» приводит к иллюзии его действительное существование, тогда как на самом деле оно является всего лишь фигурой речи. Это означает, что, вопреки Андерсону, идентичность, основанная на языке, не является истинным локусом национализма. В действительности национализм существует в политике и экономике, а то, что мы наблюдаем в языке, есть простое отражение этого реального национализма. На самом деле Андерсон ошибается, принимая образ в зеркале за вещь, которая отражается в нем.

Хобсбаум не заходит настолько далеко. Напротив, он предупреждает об опасности «сведения проблемы языкового национализма исключительно к вопросу о роде занятий его сторонников — подобно тому, как вульгарно-материалистически мыслящие либералы сводили войны к вопросу о прибылях фирм, выпускающих оружие» (Хобсбаум, 1998, с. 187). Сильверстейн, напротив, близок к этому вульгарно-материалистическому сведению, когда утверждает, что идеологии языка — это просто отражение реальности, и сами они реальностью не являются. При этом он повторяет ошибку, которая уже критиковалась им у Андерсона: речь идет о сохранении слишком жесткого разграничения между языковой и политической «реальностью». Андерсон признает существование между ними *функциональной* взаимосвязи, но считает их глубоко различными по своей внутренней структуре: язык — изначально данным, а политическую идентичность — конструируемой. В отличие от Андерсона, Сильверстейн признает существование между ними глубокого внутреннего сходства, но отрицает существование функциональной взаимосвязи, за исключением довольно тривиальной — отражения одного в другом.

Здесь, мне кажется, прав Андерсон. Ошибка Сильверстейна, если воспользоваться его же словами из приведенной выше цитаты, заключается в том, что он считает пресловутое «мы» «диалектически созданным тропом»,

а не частью «диалектической работы политических процессов». Поэтому такое представление нуждается в четком и ясном разграничении, с одной стороны, того, что принадлежит «языку», а с другой — того, что принадлежит «политике». В отсутствие такого разделения — а такое разделение, на мой взгляд, может быть только иллюзорным — низведение Сильверстейном этого «мы» к категории простого «тропа», на котором основывается его критика Андерсона, оказывается попросту необоснованным аксиоматическим заявлением. Это «мы» — и национальные идентичности, и воображаемые сообщества, основанные на нем, — не более и не менее реально, чем «диалектическая работа политических процессов» или «политико-экономический конфликт», будучи неотъемлемой составляющей последних.

Замечания Сильверстейна в других местах указанной статьи заставляют меня подозревать, что он стремится провести принципиальное различие между «стандартными» языками, которые связаны с описанным мной политическим конструированием, и «нестандартными» языками или диалектами, которым удалось избежать такого политического конструирования. Когда-то я и сам признавал существование подобного различия, рассматривая схожую проблематику в одной из своих работ (Joseph, 1987), но, в конечном счете, я отказался от мысли о том, что какой-то язык или диалект, стандартный или нестандартный, может сложиться независимо от описанных политических процессов (см.: Joseph, 2000). Но даже если признать существование такого различия, то «мы», о котором пишут Андерсон и Сильверстейн, явно связано с политическим конструированием. То, что оно совпадает с первым лицом местоимения во множественном числе, встречающегося и в нестандартных диалектах, не ведет к его устранению из политической сферы путем «натурализации» или «метафоризации». Оно, как справедливо замечают Хобсбаум и Сильверстейн, способствует эссенциализации национальной идентичности. И эссенциализм необходимо объяснить, не позволив ему просочиться в наше объяснение. Поскольку же квазиэссенциалистское представление о языке у Андерсона создает возможность такого проникновения, Сильверстейн внес серьезный вклад в предотвращение этой опасности.

Перевод с английского Артема Смирнова

Использованная литература

- Bechhofer F., McCrone D., Kiely R. & Stewart R. Constructing National Identity: Arts and Landed Elites in Scotland // *Sociology*. 22. 1999. P. 515–534.
- Billig M. *Banal Nationalism*. London: Sage, 1995.
- Cooper T. *Lectures on the Elements of Political Economy*. Columbia, S.C.: Printed by D.E. Sweeny, 1826.
- Deutsch K.W. *Nationalism and Social Communication: an Inquiry into the Foundations of Nationality*. Joint publ.: Cambridge, Mass.: Technology Press of the Massachusetts Institute of Technology; New York: Wiley, 1953.
- Fichte J.G. *Reden an die deutsche Nation*. Berlin: Realschulbuchhandlung, 1808. English version: *Addresses to the German Nation* (transl. by R.F. Jones and G.H. Turnbull) / Ed. by G.A. Kelly. New York: Harper Torch Books, 1968.

- Gellner E. *Thought and Change*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1964.
- Gellner E. *Scale and Nation* // *Philosophy of the Social Sciences*. 3. 1973. P. 1–17.
- Gellner E. *Nationalism*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1997.
- Hutton C.M. *Linguistics and the Third Reich: Mother-tongue Fascism, Race and the Science of Language*. London and New York: Routledge, 1999.
- Joseph J.E. *Eloquence and Power: the Rise of Language Standards and Standard Languages*. London: Frances Pinter; New York: Blackwell, 1987.
- Joseph J.E. *Language as Fiction: Writing the Text of Linguistic Identity in Scotland* // *English Literatures in International Contexts* / Ed. by H. Autor & K. Stierstorfer. Heidelberg: C. Winter, 2000. P. 77–84.
- Kedourie E. *Nationalism*. London: Hutchinson, 1960. [4th edn., Oxford and Cambridge, Mass.: Blackwell, 1993].
- Kohn H. *The Idea of Nationalism: a Study in its Origins and Background*. New York: Macmillan, 1944.
- Nebrija A. de. *Gramática castellana: Texto establecido sobre la ed. «princeps» de 1492* / Ed. by P.G. Romeo & L.O. Muñoz, 2 vols. Madrid: Edición de la junta del Centenario, 1946.
- Renan E. *De l'origine du langage*, 2nd edn. Paris: Michel Lévy, Frères, 1858. [1st edn. 1848].
- Renan E. *Qu'est-ce qu'une nation? Conférence faite en Sorbonne, le 11 mars 1882*. Paris: Calmann Lévy, 1882.
- Said E. *The World, the Text and the Critic*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983.
- Seton-Watson H. *Nations and States: an Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism*. London: Methuen, 1977.
- Shafer B.C. *Nationalism: Myth and Reality*. London: Gollancz, 1955.
- Valdés J. de. *Diálogo de la lengua* / Ed. by R. Lapesa, 5th edn. Zaragoza: Ebro, 1965.
- Андерсон Б. *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*. М.: КАНОН-пресс Ц, Кучково поле, 2001.
- Геллнер Э. *Нации и национализм*. М.: Прогресс, 1991.
- Данте А. *О народном красноречии* // Данте А. *Малые произведения*. М.: Наука, 1968. С. 270–304.
- Дю Белле Ж. *Защита и прославление французского языка* // *Эстетика Ренессанса*. В 2 т. М.: Искусство, 1981. Т. 2. С. 223–270.
- Кон Г. *Природа национализма* // *Этнос и политика: Хрестоматия*. М.: Изд-во УРАО, 2000. С. 107–111.
- Сильверстейн М. *Урфианство и лингвистическое воображение нации* // *Логос*. 2005. №4. С. 87–132.
- Смит Э. *Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма*. М.: Праксис, 2004.
- Хобсбаум Э. *Нации и национализм после 1780 года*. СПб.: Алетейя, 1998.